



Кадетское письмо

№ 137. Буэнос-Айрес, май 2021. XXVII год издания.

Николай Гоголь

Светлое воскресенье

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней — те же всегдашние занятия, та же повседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не повседневная. Ему вдруг представится — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздаётся у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезает вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, — если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о воскресении Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадает на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть: и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! Еще больше! Потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному Небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у него самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех, когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека, когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека, когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести, когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт, когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома и земли, когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором модных гостиных, когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспринять этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движениям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если в самом деле придется ему обнять в этот день своего брата, как брата, — он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше других требующий сострадания к себе, — он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству даст человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не воспринять нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует восприняться. Есть страшное препятствие, есть непреодолимое препятствие, имя ему — гордость. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее — гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучше других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям,

какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресения. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пушу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми — неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди — братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянув на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не заметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облизать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видеть гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспринять праздник небесной любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, — гордость ума. Никогда еще не возростала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его и только не снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и стал о бытии, знать того, чего он не может знать. Не верит этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни его ума. Во всем он усомнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что

образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир — дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь против собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспризнать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, и мир это видит и не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главного и лучшего в человеке? Никто не боится преступить несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а божий помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи церкви, небесный хозяин которой не имеет над нами власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто неизвестно зачем? Будто не видно, к чему? Зачем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно

заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес на лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду, Боже! Пусто и страшно становится в твоём мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется как следует и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носят по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят по всей земле, точно как бы будят нас? Где носят так очевидно призраки, там недаром носят; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресения воспряднуется как следует прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердца наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросив с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспряднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя, и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспряднуется Святое Воскресение Христова!» +

Просветители славян святые Кирилл и Мефодий

(24 мая по новому стилю)

В то время, как появление на границах древнего мира германских народов повлекло за собой их частичную латинизацию, выход на историческую арену славянских племен вызвало обогащение христианского мира новым, **четвертым вселенским языком**. У колыбели этого, чрезвычайно чреватого общекультурными и политическими последствиями события, стоят два грека: **святые Кирилл и Мефодий**. Первыми словами на этом новом вселенском языке были первые слова Евангелия от Иоанна: *«В начале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово»*. Интересно и даже знаменательно, что новый славянский алфавит, так называемая **кириллица**, был составлен св. Кириллом в тот же самый год, который условно считается начальным годом русского государства: в 862 году.

Оба брата родились в Салониках, или Солуни, в Македонии, где было много славян. Их отец был знатным византийским военным, у которого было семеро сыновей. Старшего звали Мефодием, а младшего – Константином. Мефодий сначала служил, как и отец, в военном звании, в частности и как воевода в одном славянском округе Византии. Константин сочетал в себе блестящее философско-богословское образование с обширным знанием языков. Он был учеником знаменитого Фотия, тоже философа, впоследствии ставшего патриархом. Константин стал священником и библиотекарем при церкви святой Софии. Началом миссионерской деятельности святого Кирилла была его по-здка (в возрасте 24 лет!) в Сирию. По указанию царя и с благословения патриарха, Константин отправился туда, чтобы удовлетворить просьбу, переданную послами сарацинского княжества Самары, о присылке *«мужей, которые могли бы побеседовать с нами о вере, и убедить нас»*. После этой поездки Константин отправился на гору Олимп, около Бруссы, в малой Азии, в монастырь, где уже находился его старший брат Мефодий. По-видимому, здесь святые братья начали заниматься изучением славянского языка, согласно свидетельству одного болгарского ученого черноризца.

Вскоре «солунские братья» были призваны царем Михаилом, который, по совету патриарха Игнатия, решил отправить их к хазарам. Хазары были тюркского происхождения и образовали буферное государство между Византией, азиатскими кочевниками и Русью. Хазарский Каган и значительная часть хазарской знати перешли из язычества в иудаизм, но среди хазар были также христиане и мусульмане. Согласно житию святых Кирилла и Мефодия, сами хазары попросили византийского императора, чтобы он им *«прислал какого-нибудь ученого мужа»* для проповеди христианства. По пути в Хазарию святые Кирилл и Мефодий остановились в Крыму, в византийском городе Херсоне, в нынешнем русском Севастополе. Здесь они провели немалое время, изучая языки и подготавливаясь к своей миссии. Они изучали «хазарский» (житие утверждает, что хазары говорили на славянском языке) и еврейский языки. Святой Кирилл даже перевел восемь частей еврейской грамматики, готовясь к диспутам с хазарскими евреями.

Здесь же, на территории Руси, святые Кирилл и Мефодий стали свидетелями двух исторических событий, немалой важности для их будущего. Во-первых, они приняли участие в открытии мощей священномученика Климента, папы римского, сосланного сюда из Рима, а затем убиенного во время императора Траяна. Святые Кирилл и Мефодий взяли с собой часть этих мощей. Гораздо позже, когда они посетили Рим, они передали мощи Римской церкви. Римский клир и народ встретили святых братьев и мощи святого Климента торжественной процессией с возженными свечами за стенами Рима, во главе с папой Адрианом Вторым. Во-вторых, в Херсоне святой Кирилл нашел *«Евангелие и псалтырь русскими писмены писана»*, а также человека, говорившего на этом языке. Это является одним из ценных исторических подтверждений о существовании еще до

«кириллицы»ка-кой-то **русской азбуки**, «**русских письмен**», созданной, по-видимому, на основании греческого алфавита. Возможно, что и сама «кириллица» родилась, в свою очередь, на основании или, по крайней мере, под влиянием этих «русских письмен».

Содержание богословских диспутов с хазарами, главным образом иудейского вероисповедания, сохранилось частично в Житии святых братьев. (См. «Жития святых на русском языке», переизданное Архимандритом Пантелеймоном в 1969 году, месяц май, стр. 325-377). Эти диспуты касались, главным образом, таких вопросов, как вера в Святую Троицу, происхождение закона, почитание икон, отношение к обрезанию и т. д. И по сей день они носят весьма интересный и поучительный характер, особенно ценными являются в них ссылки на тексты из Ветхого Завета. И в наши дни можно горячо рекомендовать чтение этого весьма интересного Жития. После этих двух миссий к арабам и хазарам, святые Кирилл и Мефодий приняли участие в крещении болгарского народа, при царе Борисе, в 860 или 861 году. Все эти три миссии были лишь подготовкой для последней, четвертой миссии: к **просвещению славян**.

Под конец пребывания солунских братьев у болгар, в славянском государстве Моравия (нынешние восточная Чехия и западная Словакия), по-видимому, состоялся народный Собор, в котором приняли участие князь моравский Ростислав, его племянник Святополк, князь блатненский (паннонский) Коцел и весь народ моравский. На этом совещании было решено послать послов к византийскому царю Михаилу, с просьбой прислать христианских учителей, с такими словами: *«Наш народ отверг язычество и содержит закон христианский. Только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке. Другие страны (славянские), увидя это, желают идти за нами»*. Как пишет Житие, царь Михаил сказал тогда святому Кириллу: *«Философ, я знаю, что ты не здоров; но необходимо тебе идти туда, так как никто не может выполнить этого дела лучше тебя»*.

Так и получилось, что *«при начале славянской истории, по какому-то таинственному предопределению, одним и тем же рукам досталось рассыпать одни и те же семена по всем странам славянским»*, как писал историк М. П. Погодин по случаю 1000-летия Кирилло-Мефодиевского дела.+

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Качество иммитаций тоже зависит от качества иммитируемой модели

Камуфлируемая информация из глубинных структур

Когда известного русофоба-политолога, польского происхождения, Збигнева Бжезинского, много лет тому назад спросили, уже на покое, откуда он ежедневно черпает доверительную политическую информацию, он ответил, что из газет. Он каждый день, после завтрака, садится читать газеты, в течение пары часов, и таким образом он хорошо знает, что происходит в мире. Схожего мнения придерживаются и некоторые другие политики и журналисты. Конечно, очень важно в таких случаях правильно выбирать газету, статью и автора, а также нужно уметь читать между строк. Действительно, глубинная информация, а также и инструкции, из глубинных политических структур, практически не имеет другой возможности быстрого распространения.

Для предохранения от чужих взоров и анализов, такая «**междустрочная**» информация требует особенных подготовки и умения. Только так или иаче посвященные, могут полностью понять скрытый смысл публикуемой закамouflированной информации и общей ориентации новых направлений. Больше того: среди остальной информации очень много публичного гипноза определённой тенденции, публикуемого в качестве политического оружия в рамках «холодных войн», каковые нужно уметь обходить.

Дело не в личностях, а в модели

Ведущая либеральная аргентинская газета «*Ля Насион*» недавно опубликовала заметку, что уже при первом президенте Аргентины (1826 – 1828), Бернардино Ривадавии, в Аргентине не было особенного порядка и благосостояния, а скорее царил атмосфера наблюдаемая и сегодня в стране. Это коренная перемена в пропагируемой информации. До сих пор гоорилось, что установленная незадолго до Ривадавии **модель была хороша**, и лишь частые военные перевороты её нарушали, после чего к власти приходили неподходящие люди.

Эта же самая газета, за пару недель до этого, рассказала, кем была создана эта политическая модель и как она называется. Это была модель «**республики и демократии**», а была она предложена на заседании предыдущего монархического испанского органа «*кабильдо*», являвшегося во многих отношениях наследником римских муниципальных курий. Тогда вся испанская Америка, от Мексики и на юг до Аргентины, была подразделена на 20 вице королевств и несколько «капитанств», управлявшихся назначенными испанским правительством вице королями или «капитанами» и ими учрежденными «кабильдо».

После **революций независимости** в Испанской Америке, в начале XIX века, когда Испания была оккупирована Наполеоном, эти «кабильдо» были захвачены новыми людьми. Газета «*Ля Насион*» пишет, что почти все они были масонами, кроме одного человека из двадцати. В Буэнос Айресе в Кабильдо даже вошел один римский католический священник, тоже масон, как пишет газета. Они тогда и установили новую политическую модель, вместо исторической испанской монархической модели. Газета пишет, что они тогда называли эту новую модель «*демократией и республикой*». Почти во всей тогдашней Испанской Америке эта модель тогда была в основном одинакова.

С тех пор, и результаты этой модели, в большинстве случаев, тоже были аналогичными. Ввиду этих результатов, в Испанской Америке стали хроническими разного вида перевороты и революции, каковые и были провозглашены главной причиной неуспешных результатов политической и экономической эволюции этих стран. Например, в Аргентине вся вина валилась на периодические военные перевороты, пытавшиеся как то улучшить положение. Первый такой переорот произошел в 1930 году, в котором тогда принял активное участие молодой офицер Хуан Перон, который через 14 лет, в 1944 году, сам сделал свой переворот. А еще через 11 лет он тоже был смещен следующим переворотом, на этот раз либерального толка.

Почти после каждого такого переворота в стране сильно менялся состав управительной администрации, включая Верховный Суд, и менялось большинство прежде установленных законов. Сопровождавшие эти процессы экономические и политические неудачи обыкновенно приписывались предыдущему правительству. Аналогичные процессы происходили и в большинстве других латиноамериканских государств, что неумолимо вело к хроническим застоям и кризисам, каковые приписывались не самой этой системе, а очередным актёрам переворотов.

Так называемая «свободная» печать, в большинстве случаев, отнюдь не способствовала правильному анализу происходящего и даже пыталась как то затушевать статистические данные, являвшиеся результатом этих процессов. Например, статистический показатель бедности населения в последнее время больше всего упоминается, но при этом

умалчивается, что при последнем военном правительстве, сменённым в 1983 году, этот показатель бедности, скрупулезно высчитываемый ежегодно метным Католическим Университетом, был ниже 19 процентов населения, хотя сегодня, при левом правительстве он достиг 44 процентов. Однако, в данном случае дело не в тех или иных личностях и партийных или корпоративных группах, а в самой модели, которой пытаются следовать почти все без исключения. Значит, **дело в системе, вытекающей из установленной и взятой за образец модели**, причина перманентного застоя, а не в тех или иных лицах или корпорациях.

Фальсификация названий предлагаемой модели

Однако, почти глобальные затруднения с удачной реализацией названных моделей нельзя отослать к оригинальным прообразам этих моделей. **Предлагаемые модели республики и демократии коренным образом отличаются от их оригинальных первоисточников, афинской демократии и римской республики.** Больше того, некоторые основные характеристики этих прообразов сегодня трактуются как их искажения и критикуется их применение. Между прочим, именно в этом и заключается одна из главных причин неудач в современном применении этих моделей, ибо таковые в новых толкованиях превращаются в их антиподы.

Больше того, любые, даже самые осторожные, попытки возврата к оригинальным характеристикам оригинальных моделей подвергается критическому преследованию. Например, любые поправки в структурах современных республик подвергаются жесточайшей критике и даже шельмованию.

Например, Тит Ливий описывает возникновение **первой в истории республики**, как учреждение её двух коренных институций, а имеено **религиозного авторитета авгуров и политического авторитета сената**; в этом порядке. Затем, была **добавлена нравственная авторитарность цензоров**. Сегодня же малейшее улучшение республиканских практик отвергается, как «авторитарность». В этом обстоятельстве кроется одна из главных причин современных неудач и затруднений современных республик: их органы публичного авторитета ампутированы.

Значит, имитируемая сегодня модель республики и демократии имеет мало что общего с их оригинальными прообразами. Это обстоятельство сегодня стало **очевидным**, а поэтому из глубинных источников допускается некоторая корректура этих моделей. Этим нужно воспользоваться и вместо корректуры надо возродить первоначальный смысл этих понятий. +

И. Н

КАДЕТСКОЕ ПИСЬМО № 137. Буэнос-Айрес, май 2021 года. XXVI год издания.

Бюллетень русских кадет в эмиграции. Основан в 1955 году А. Г. Денисенко, кадетом VII выпуска Крымского кадетского корпуса, в эмиграции. Не издавался с 1961 г. С ноября 1995 г. выходит под новой нумерацией, на правах рукописи. Ссылка на источник обязательна.

Издатель и редактор: И. Н. Андрушкевич, кадет Первого Русского кадетского корпуса.

Почтовый адрес: Igor Andruskiewitsch, Calle Entre Rios 2628. 1653, Villa Ballester. Argentina.

Эл. адрес: kadetspismo@hotmail.com **Блог:** <http://i-n-andruskiewitsch.blogspot.com>.